

ГЕНРИ ДЖЕЙМС

Поворот винта



Магистраль. Главный тренд

Генри Джеймс

Поворот винта

«ЭКСМО»

1888, 1898, 1908

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

Джеймс Г.

Поворот винта / Г. Джеймс — «Эксмо», 1888, 1898,
1908 — (Магистраль. Главный тренд)

ISBN 978-5-04-250136-4

«Поворот винта» — одно из самых загадочных и изощрённых произведений Генри Джеймса, классическая история о том, как тонка граница между страхом внешним и страхом внутренним. Молодая гувернантка, принявшая на себя заботу о двух безупречно воспитанных детях, сталкивается с неясными, пугающими проявлениями прошлого. Этот компактный роман превращает викторианскую усадьбу в пространство тревоги, где каждый шорох и взгляд может оказаться частью страшной истины — или плодом восприятия рассказчицы.

УДК 821.111-31

ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-04-250136-4

© Джеймс Г., 1888, 1898, 1908

© Эксмо, 1888, 1898, 1908

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Поворот винта | 6 |
| I | 11 |
| II | 14 |
| III | 17 |
| IV | 21 |
| V | 24 |
| VI | 28 |
| VII | 32 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 34 |

Генри Джеймс

Поворот винта

Henry James

The Turn of the Screw

© Н. Дарузес, перевод на русский язык. Наследники, 2026

© О. Холмская, перевод на русский язык. Наследники, 2026

© А. Шадрин, перевод на русский язык. Наследники, 2026

© Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2026

Поворот винта

Повесть

Мы сидели перед камином и, затаив дыхание, слушали рассказчика, однако, помимо того, что рассказ был страшный, как оно и полагается в старом доме накануне Рождества, помнится, никаких комментариев на этот счет не последовало, пока кто-то не обронил замечания, что он впервые слышит, чтобы такой призрак явился ребенку. Упомяну, кстати, что речь шла о появлении призрака в точно таком же старом доме, в каком собрались мы. Маленькому мальчику, спавшему в одной комнате с матерью, явилось самое ужасное привидение; он разбудил мать – не для того, чтобы она успокоила и снова убаюкала его, но чтобы она и сама, прежде чем успокоить ребенка, увидела то, что так его напугало. Как раз эти слова, не сейчас же, а позже вечером, вызвали у Дугласа реплику, на любопытное следствие которой я обращаю внимание читателя. Кто-то из нас рассказал еще одну, не слишком увлекательную историю, но, сколько я мог заметить, Дуглас ее не слушал. Судя по этому признаку, я решил, что ему самому хочется что-то рассказать, а слушателям остается только ждать, когда он начнет. И в самом деле, нам пришлось дожидаться всего два дня, но еще в тот же вечер, перед тем как мы разошлись по комнатам, он высказал то, что лежало у него на душе.

– Каков бы ни был призрак мистера Гриффина, я совершенно согласен, что в его появлении ребенку такого нежного возраста есть нечто странное. Насколько мне известно, это не первый случай подобного рода, когда в событии участвует ребенок. Если один ребенок дает действию новый поворот винта, то что вы скажете о двух детях?

– Мы, разумеется, скажем, что это дает винту два поворота! А кроме того, то, что мы хотим о них послушать.

Как сейчас вижу Дугласа, стоящего перед камином; повернувшись к огню спиной и засунув руки в карманы, он глядел на собеседников сверху вниз.

– До сих пор никто не знает этой истории, кроме меня. Уж слишком она страшна.

Естественно, раздалось несколько голосов, утверждавших, что это-то и придает ей особенную цену, а наш друг, спокойно предвкушая свой триумф, обвел взглядом всех собравшихся и продолжал:

– Эту историю не с чем сравнивать. Я не знаю ничего страшнее.

– Неужели нет ничего страшнее? – помнится, спросил я.

Казалось, ему не так просто было ответить: он, видимо, затруднялся дать более точное определение. Проведя рукой по глазам, он слегка поморщился:

– Да... по ужасу... по леденящему ужасу...

– Ах, какая прелесть! – воскликнула одна из дам.

Дуглас не обратил на нее внимания; он смотрел на меня, но так, словно видел не меня, а то, о чем сейчас говорил.

– По сверхъестественной жути, по страданию и по мукам.

– Ну хорошо, – сказал я, – если так, садитесь и начинайте свой рассказ.

Он снова стал лицом к камину и, толкнув ногою полено, с минуту глядел в огонь. Потом обратился к нам:

– Начать так сразу я не могу. Придется послать в город.

Все единодушно запротестовали; посыпался град упреков, и тогда Дуглас, видимо поглощенный своими мыслями, объяснил нам:

– Все это записано, а рукопись заперта в столе, и уже много лет к ней никто не прикасался. Надо написать моему доверенному и послать ему ключ: он достанет пакет и пришлет сюда.

Казалось, ко мне в особенности он обращался с этими словами, словно умоляя оказать ему помощь в его колебаниях. Он разбил лед, нараставший в течение многих зим; очевидно, у него были свои причины молчать так долго. Остальным не хотелось откладывать чтение, но меня пленили именно его колебания. Я уговорил Дугласа послать письмо с первой же почтой и прочесть нам рассказ как можно скорее. Потом я спросил его, не из личного ли опыта взял он такой случай. На что он немедленно ответил:

– О нет, слава богу, нет!

– Но рассказ ваш? Это вы его написали?

– Мое тут только впечатление. Оно заключено вот здесь. – И он прижал руку к груди. – Я не в силах его забыть.

– Так, значит, ваш манускрипт...

– Написан старыми, выцветшими чернилами и самым изящным почерком. – Он снова помедлил. – Женским почерком. Прошло уже двадцать лет, как она умерла. А перед смертью прислала мне эту рукопись.

Теперь все слушали Дугласа, и, разумеется, нашелся среди нас некий остроумец, охотник отпускать шуточки или, по крайней мере, делать намеки. Дуглас принял намек без улыбки, однако и без раздражения.

– Это была очаровательная особа, но старше меня десятью годами. Гувернантка моей сестры, – спокойно ответил он. – Самая прелестная из женщин ее профессии, она была бы достойна самого высокого положения в обществе. Все это дело давнее, а эпизод, ею описанный, происходил еще того раньше. Я учился тогда в Оксфорде, в Тринити-колледже, и застал ее у нас в доме, приехав на летние каникулы. В тот год стояло прекрасное лето, я редко уезжал из дому, и в ее свободные часы мы гуляли в парке и беседовали – меня поражал ее незаурядный ум и утонченность. Да-да, не ухмыляйтесь: мне она чрезвычайно нравилась, и я до сих пор счастлив тем, что и я тоже нравился ей. Если б этого не было, она бы мне ничего не рассказала. Никому другому она ничего не рассказывала. Я это знал не только от нее, но чувствовал и сам. Уверен, что она не говорила больше никому, – это было ясно. Вы и сами в этом убедитесь, когда я прочту вам ее рассказ.

– Потому, что эта история такая жуткая?

Он пристально смотрел на меня.

– Вы сами в этом убедитесь, – повторил он, – вы это поймете.

Я смотрел на него так же пристально.

– Понимаю. Она была влюблена?

Тут он впервые улыбнулся.

– Вы очень проникательны. Да, она влюбилась. То есть еще до этого. Ее тайну раскрыли; ей невозможно было рассказывать без того, чтобы ее влюбленность не стала явной. Я ее понял, и она это видела, но мы с ней не сказали об этом ни слова. Помню и время, и место: угол лужайки, тень от буков и долгий, жаркий летний день. Место действия не внушало никакого страха, и все же!..

Он отошел от камина и снова уселся в кресло.

– Вы получите пакет в четверг утром? – спросил я.

– Я думаю, не раньше чем со второй почтой.

– Отлично, тогда после обеда.

– Все мы соберемся здесь? – И он снова обвел нас взглядом. – Никто не уезжает? – В его тоне сквозила надежда.

– Мы все останемся!

– Я останусь!.. И я тоже останусь! – воскликнули те дамы, чей отъезд был уже назначен. Миссис Гриффин, однако, выразила желание узнать несколько больше.

– В кого же она была влюблена?

– Вы это узнаете из рассказа, – поспешил ответить я.

– Но я его не дождусь!

– Из рассказа этого нельзя будет узнать, то есть в буквальном, грубом смысле слова, – сказал Дуглас.

– Тогда тем более жаль. Мне только такой смысл и доступен.

– Дуглас, быть может, вы нам объясните? – попросил кто-то другой.

Дуглас вскочил с кресла.

– Да, завтра. А сейчас я иду спать. Спокойной ночи! – И, захватив свой подсвечник, он быстро удалился, оставив нас в легком недоумении. Из нашего угла в большом, темном холле нам слышны были его шаги по лестнице.

Потом заговорила миссис Гриффин:

– Ну что ж, если я не знаю, в кого она была влюблена, зато знаю, в кого был влюблен Дуглас.

– Но ведь она была на десять лет старше, – заметил ее муж.

– В этом возрасте – *raison de plus!*¹ Но как это мило, что он так долго молчал!

– Сорок лет, – заметил Гриффин.

– И наконец такая вспышка!

– Эта вспышка даст замечательный эффект в четверг вечером, – возразил я, и все остальные согласились со мной – в ожидании четверга мы ничем более уже не интересовались. Была рассказана еще одна малоувлекательная история, похожая на первую главу романа с продолжением, и все мы, распроставшись на ночь и захватив свои подсвечники, отправились спать.

Наутро я узнал, что письмо и ключ уже отправлены на лондонскую квартиру Дугласа с первой почтой. Однако, вопреки этому быстро распространившемуся известию, а быть может, и благодаря ему, мы не стали докучать Дугласу с обеда до вечера, который более всего соответствовал тем эмоциям, которые мы предвкушали и на которых сосредоточивались наши надежды. И тут он стал до такой степени разговорчивым, что большего нельзя было желать, и даже объяснил нам почему. Мы снова слушали его, собравшись у камина в холле, как и вчера вечером, и испытывая приятное волнение. Оказалось, что повесть, которую он обещал нам прочесть, для полного понимания действительно нуждалась в кратком прологе. Да будет мне позволено сказать прямо, чтобы покончить с этим раз и навсегда, что эта повесть, то есть точная копия с нее, сделанная мною спустя много лет, есть та самая, которая следует ниже. Бедный Дуглас перед своей смертью – когда эта смерть была уже близка – передал мне рукопись. А тогда он получил ее с почты на третий день и начал читать нашему притихшему кружку на четвертый день вечером, в том же самом холле, и с огромным успехом. Дамы, которые собирались уехать, но говорили, что останутся, разумеется, не остались. Как было решено ранее, они уехали, по их словам сгорая от любопытства, вызванного тем немногим, чем он уже успел раззадорить нас. Но маленький кружок его слушателей после этого только сплотился теснее, стал более избранным, объединив нас у камина в общем трепете.

Прежде всего мы узнали, что рукопись продолжает устный рассказ с того места, которое в известном смысле может считаться началом всей истории. Самое важное заключалось в том, что эта знакомая Дугласа, младшая дочь бедного сельского пастора, девушка двадцати лет, в страшном волнении приехала в Лондон, оставив свое первое место учительницы в школе, чтобы лично ответить на объявление, с автором которого она заранее списалась. Для окончательного решения вопроса она явилась в дом на Гарлей-стрит, который оказался громадным и внушительным, и там познакомилась со своим будущим патроном. Это был джентльмен во цвете лет, холостяк и истинный денди – словом, такая фигура, какую растерянная и взволнованная девушка из гемпширского пастората могла увидеть разве только во сне или в старин-

¹ Тем более! (*фр.*).

ном романе. Этот тип легко поддается зарисовке: слава богу, он у нас никогда не переводится. Джентльмен был очень красив, держался уверенно и свободно, был любезен и благожелателен. Он поразил ее своей галантностью и великолепием – это было неизбежно, но более всего ее пленило, а впоследствии очень помогло и придало ей мужества то, что он представил ей все дело чем-то вроде одолжения и милости с ее стороны, которые он готов принять с благодарностью. Она поняла, что он богат, но страшно расточителен, увидела его во всем блеске красоты, светскости, дорогостоящих привычек, очаровательных манер в обращении с женщинами. Его городской резиденцией был этот громадный особняк, набитый сувенирами путешествий и охотничьими трофеями; но он выразил желание, чтобы девушка немедленно отправилась в его загородный дом, старинную усадьбу его семьи в Эссексе.

После смерти их родителей в Индии ему пришлось сделаться опекуном двоих малолетних племянников, сына и дочери его младшего брата – офицера, которого он потерял два года тому назад. Эти двое детей стали тяжелой обузой для человека его положения, одинокого холостяка без необходимого в таких случаях опыта и без капли терпения. Ему было нелегко, и он, несомненно, совершил целый ряд ошибок, однако, всей душой жалея бедных птенцов, он сделал для них все, что мог, главное же – отправил их в свой второй дом, ибо детям, разумеется, больше подходила сельская местность, и поселил там с самыми лучшими людьми, каких только мог найти, пожертвовав даже личными своими слугами, и сам навещался к детям, когда мог, посмотреть, как им живется. Трудность заключалась в том, что у них не было других родственников, а у него все время уходило на личные дела. Он отдал им во владение усадьбу Блай, место тихое и здоровое, поставив во главе маленького хозяйства, ограничивавшегося, правда, одним только нижним этажом, миссис Гроуз, превосходную женщину, которая, как он был уверен, должна понравиться его госте; а прежде она была горничной его матери. Теперь она стала экономкой, временно присматривает за девочкой и, не имея собственных детей, очень ее любит. Там много и другой прислуги, но, разумеется, верховная власть будет принадлежать молодой особе, которая поедет туда гувернанткой. На каникулах ей придется смотреть и за мальчиком, которого отдали на один семестр в школу, хотя это и рано, однако что же еще можно было сделать? – он должен со дня на день вернуться домой, ибо каникулы уже начинаются. Вначале обоим детям вела молодая женщина, которую они имели несчастье потерять. Она прекрасно справлялась с обоими до самой своей смерти. Это была в высшей степени уважаемая особа, а после этого крайне прискорбного события не оставалось ничего другого, как отдать Майлса в школу. С тех пор миссис Гроуз присматривает, как умеет, за Флорой – по части манер и всего прочего, а кроме нее, в доме есть кухарка, горничная, скотница, старый пони, старый конюх и старый садовник – все публика весьма почтенная.

Когда Дуглас довел свое вступление до этого места, кто-то задал ему вопрос:

– А от чего же умерла прежняя гувернантка, не от избытка ли уважаемости?

Наш друг ответил, нимало не медля:

– Это вы узнаете в свое время. Я ничего не предвосхищаю.

– Простите, мне подумалось, что вы именно предвосхищаете.

– На месте ее приемницы я бы полюбострадал, не в самой ли должности таилась... – предположил я.

– Неизбежная опасность для жизни? – закончил Дуглас мою мысль. – Она пожелала это узнать – и узнала. Что именно она узнала, вы услышите завтра. А в то время будущее представлялось ей довольно мрачным. Она была молода, неопытна, нервна; воображение рисовало ей трудные обязанности, полное отсутствие общества, одиночество, поистине беспредельное. Она заколебалась – попросила два дня отсрочки, чтобы подумать и посоветоваться. Однако предложенная плата намного превышала ее скромную мерку, и при втором свидании она решилась, она приняла предложенное место. – И тут Дуглас сделал паузу, которая позволила мне вставить, в интересах всего общества:

– Мораль, конечно, такова, что великолепный молодой человек пустил в ход обольщение. И она не устояла.

Дуглас поднялся с места и, так же как вчера вечером, подойдя к камину, толкнул ногой полено и с минуту постоял спиной к нам.

– Она виделась с ним всего два раза.

– Да, но в этом-то и была вся прелесть ее увлечения!

И тут Дуглас, несколько удивив меня, повернулся ко мне.

– Да, в этом-то и была вся прелесть. Нашлись и другие, которые перед ним устояли, – продолжал Дуглас. – Милорд откровенно рассказал ей о главном препятствии: для нескольких кандидаток его условия оказались неприемлемыми. Они почему-то просто боялись. Для них это звучало странно, было непонятно, и больше всего из-за главного условия.

– Которое заключалось?..

– В том, что она никогда, ни под каким видом не должна беспокоить милорда: ни о чем не просить; не жаловаться, ни в коем случае не писать ему – решать все вопросы самостоятельно, получать все деньги от его поверенного, взять на себя все, а его оставить в покое. Она обещала все это и потом призналась мне, что когда он ощутил себя наконец-то свободным, то, вне себя от радости, на минуту задержал ее руку в своей, благодаря ее за эту жертву, и она почувствовала себя так, словно уже получила награду.

– Но разве только это было ее наградой? – спросила одна из дам.

– Больше она никогда его не видела.

– О! – воскликнула дама; и так как наш друг немедленно покинул нас, то это и было единственным словом, относившимся к теме нашей беседы, до тех пор, пока на следующий вечер, в том же углу перед камином, он, сидя в самом удобном кресле, не развернул перед нами тоненький старомодный альбом с золотым обрезом, в выцветшем красном переплете. Чтение заняло не один вечер, а несколько, и в первый вечер та же дама задала еще один вопрос:

– Какое у вас заглавие?

– У меня нет заглавия.

– Зато у меня оно есть, – сказал я.

Но Дуглас, не слушая меня, уже начал читать с той прекрасной ясностью дикции, которая словно передавала слуху изящество авторского почерка.

I

Я вспоминаю все начало этой истории как ряд взлетов и падений, как легкое качание между верным и ошибочным. В Лондоне, согласившись на его предложение, я провела, во всяком случае, два очень тяжелых дня – то впадая в сомнение, то уверяясь, что я действительно совершила ошибку. В таком состоянии духа я провела и долгие часы в тряском почтовом дилижансе, который довез меня до станции, где меня должна была встретить коляска из имения. Как мне сообщили, экипаж был уже выслан, и к концу июньского дня я увидела поджидавшую меня удобную коляску. Проезжая в вечерний час в этот чудесный день по таким местам, где вся прелесть лета, казалось, дружески приветствовала меня, я снова воспрянула духом и, как только мы свернули в аллею, вздохнула с облегчением, что было, вероятно, лишним доказательством того, как сильно я приуныла. Мне кажется, я ожидала или боялась встретить нечто крайне мрачное, и то, что открылось передо мною, было радостной неожиданностью. Я вспоминаю как самое приятное впечатление широкий, светлый фасад, открытые окна, новые занавеси и двух горничных, выглядывавших из окон; я вспоминаю лужайку с яркими цветами, хруст колес по гравии и сомкнувшиеся кроны деревьев, над которыми в золотистом небе с криком кружились грачи. Картина была величественная, чем она сильно отличалась от скудости моего родного дома, – и почти в ту же минуту, держа за руку маленькую девочку, в дверях показалась солидная особа, присевшая передо мною так почтительно, словно я была сама хозяйка дома или знатная гостья. На Гарлей-стрит я получила далеко не столь выгодное представление об усадьбе, и тут, сколько помнится, ее владелец еще более возвысился в моих глазах, и я подумала, что мое будущее намного превосходит все его обещания.

В тот день я больше не испытывала уныния, ибо в течение следующих часов меня захватило и увлекло знакомство с младшей моей воспитанницей. Девочка, сопровождавшая миссис Гроуз, с первого взгляда показалась мне таким очаровательным существом, что иметь с ней дело представлялось мне великим счастьем. Мне никогда еще не доводилось видеть ребенка красивее, и впоследствии я удивлялась, почему мой патрон не рассказал мне о ней побольше. Я плохо спала в ту ночь – я была слишком взволнована; и это радостное волнение удивляло меня и, как я вспоминаю, неотступно владело мною, усиливая впечатление от щедрости и великодушия, с какими я была встречена. Большая, внушительная комната, одна из лучших в доме, широкая парадная кровать, узорные драпировки, высокие зеркала, где впервые в жизни я могла видеть себя с ног до головы, – все это поражало меня, так же как и необычайная прелесть моей маленькой воспитанницы, так же, как и все то, с чем мне впервые пришлось столкнуться.

С первой же минуты мне пришлось столкнуться с мыслью о том, как сложатся мои отношения с миссис Гроуз, с мыслью, которая, боюсь, угнетала меня еще дорогой, в почтовой карете. Единственное, что при первых наблюдениях могло заставить меня держаться настороже, было то обстоятельство, что миссис Гроуз до крайности обрадовалась мне. Я в первые же полчаса это заметила: она до такой степени обрадовалась – дородная, простодушная, некрасивая, опрятная, здоровая женщина, – что даже остерегалась слишком проявлять свою радость. Тогда я даже слегка удивилась, для чего бы ей это скрывать, и вместе с раздумьем и подозрениями это могло, разумеется, встревожить меня.

Но для меня служило утешением, что ничто тревожное не могло быть связано с таким воплощением счастья, как сияющий облик моей девочки, ангельская красота которой, вероятно, более всего другого вызывала беспокойство, заставившее меня до утра несколько раз подниматься и бродить по комнате, пытаюсь осмыслить всю картину в настоящем и будущем; следить в открытое окно за слабыми проблесками рассвета, разглядывать те части дома, которые мне были видны в окно, и, по мере того как рассеивались тени и начинали щебетать первые птицы, прислушиваться, не повторится ли тот или иной звук, менее естественный, который

мне почудился, не вне дома, а внутри. Была минута, когда мне показалось, будто я услышала далекий и слабый детский крик; была и другая, когда я уже наяву, с полным сознанием, вздрогнула, заслышав легкие шаги в коридоре перед моей дверью. Но все эти фантазии были слишком зыбки и потому сразу отвергнуты и отброшены мною, и только в свете или, лучше сказать, во мраке иных последующих событий они вспоминаются мне теперь. Смотреть за маленькой Флорой, учить, «формировать», воспитывать ее слишком очевидно могло сделать мою жизнь счастливой и содержательной. В покоях нижнего этажа между нами было условлено, что после первой ночи она, разумеется, будет спать со мной в моей комнате, и ее маленькую белую кроватку перенесли ко мне в спальню. Вся забота о Флоре отныне переходила ко мне, и только на этот последний раз она осталась с миссис Гроуз единственно потому, что мы приняли во внимание то, что я, несомненно, чужая Флоре, и подумали о природной робости девочки. Вопреки этой ее робости, в которой она призналась мне и миссис Гроуз откровенно и храбро, без всякого смущения и неловкости, с глубокой и ясной кротостью рафаэлевского Младенца, позволяя нам судить ее поступки и выносить решения, – вопреки всему этому я предчувствовала, что она скоро полюбит меня.

Вот почему я успела привязаться и к самой миссис Гроуз – я видела, как радуется ей то, что я люблю и восхищаюсь моей воспитанницей, сидя с ней за ужином при четырех высоких свечах, – а Флора, между этими свечами, в нагруднике, на высоком стуле, весело смотрит на меня из-за своей чашки с молоком и хлебом. Вполне естественно, о многих вещах мы могли говорить при Флоре только темными и окольными намеками, обмениваясь изумленными и радостными взглядами.

– А мальчик? Он похож на нее? Тоже такой необыкновенный?

Ребенку льстить не станешь.

– Ах, мисс, очень даже необыкновенный. – И она остановилась с тарелкой в руках, просяив улыбкой на нашу маленькую подружку, а та переводила взгляд с нее на меня. – Если уж вам эта понравилась!

– Да, ну так что же?

– А в нашего маленького джентльмена вы прямо влюбитесь!

– Мне кажется, для того я и приехала. Я ведь довольно легко увлекаюсь. В Лондоне я тоже увлеклась!

До сих пор я помню широкое лицо миссис Гроуз, когда она поняла, о чем я говорю.

– На Гарлей-стрит?

– Да, там.

– Что ж, мисс, не вы первая, не вы и последняя.

– Ах, у меня нет претензий быть единственной. – Я смогла даже улыбнуться. – Во всяком случае, мой второй воспитанник, насколько я поняла, приезжает завтра?

– Не завтра, в пятницу, мисс. Он приедет с дилижансом, как и вы, мисс, за ним присмотрит кондуктор, и встретить его должна та же коляска.

Я поспешила ответить ей, что именно поэтому будет приличней, приятней и дружелюбней, если я сама поеду к прибытию почтового дилижанса и вдвоем с его маленькой сестрицей встречу мальчика там, а миссис Гроуз подхватила эту мысль с такой готовностью, что я восприняла ее поведение как утешительный залог того – слава богу, она осталась мне верна! – что мы с ней всегда и во всем будем заодно. О, она радовалась, что я тут!

Мои чувства на следующий день, мне думается, по справедливости можно назвать реакцией после первых радостей приезда: вероятно, самое большее, это была лишь легкая угнетенность, порожденная во мне более полным представлением о масштабах моих новых обязанностей и нового окружения, после того как я рассмотрела их и измерила. К таким размерам и к такому объему я не была подготовлена, хотя встретила их довольно бодро, слегка пугаясь и вместе с тем слегка гордясь. Уроки, разумеется, ввиду стольких волнений, пришлось отло-

жить: я рассудила, что первая моя обязанность – привлечь к себе ребенка самыми мягкими средствами, позволив ему сначала привыкнуть. Я провела с девочкой весь день на воздухе и, к великому удовольствию Флоры, обещала ей, что никто другой, кроме нее, не будет показывать мне усадьбу. Она показывала ее мне шаг за шагом, комнату за комнатой и секрет за секретом, болтая по-детски забавно и мило, и в результате мы с ней уже через полчаса сделались близкими друзьями. Хотя девочка была очень мала, меня поразило, во время нашего обхода пустых покоев и мрачных коридоров, на головоломных лестницах, где я невольно останавливалась, и даже на вершине старой башни с бойницами, где у меня закружилась голова, с какой уверенностью и смелостью она шла, болтая об утренних уроках музыки, стремясь рассказывать мне гораздо более, чем расспрашивать меня, и ее оживление звучало в воздухе и вело меня вперед. Я не видела больше усадьбы Блай с тех самых пор, как покинула ее, и думаю, что теперь, на мой более зрелый и более опытный взгляд, она показалась бы сильно сократившейся. Но когда на крутых поворотах передо мной мелькали золотые волосы и голубое платье моей маленькой проводницы и по переходам разносился топот ее маленьких ножек, я видела перед собой волшебный романтический замок, обитаемый светлым эльфом; весь колорит, все краски этого замка, казалось мне, были заимствованы из сказок и легенд. И в самом деле, уж не задремала ли я над книгой волшебных сказок, не замечталась ли над ней? Нет, это был только большой старинный дом, некрасивый, но удобный, воплощавший некоторые черты более древнего здания, наполовину перестроенного и наполовину использованного, где, как я воображала, мы чуть не затерялись, словно горстка пассажиров на большом дрейфующем корабле. И самое странное – у руля была я!

II

Это стало мне ясно, когда двумя днями позже я ехала вместе с Флорой встречать «нашего маленького джентльмена», как назвала его миссис Гроуз; и тем яснее, что меня глубоко взволновал случай, произошедший на второй вечер после моего приезда. Первый день, как я уже говорила, в общем скорее успокоил меня, но мне пришлось еще увидеть, как он закончился мрачным предзнаменованием. Вечером в почтовой сумке – а почта пришла поздно – оказалось письмо для меня, написанное рукой моего патрона; оно состояло всего из нескольких слов и включало другое, адресованное ему самому, с еще не сломанной печатью. «Это, кажется, письмо от начальника школы, а он ужасно скучный тип. Прочтите, пожалуйста, и договоритесь с ним; но смотрите, не пишите мне ни слова, я уезжаю!» Я сломала печать с усилием, тем большим, что очень долго не могла на это решиться, наконец взяла невскрытое послание к себе в комнату и принялась за него только перед сном. А лучше было бы не трогать его до утра – оно принесло мне вторую бессонную ночь. На следующий день я была в полном отчаянии, не зная, с кем посоветоваться, и под конец оно одолело меня настолько, что я решила открыться хоть миссис Гроуз.

– Что это значит? Мальчика исключили из школы.

Она бросила на меня взгляд, который мне запомнился сразу, потом, словно спохватившись, сделала попытку отвести глаза в сторону.

– Но ведь их всех?..

– Распускают по домам – да. Но только на каникулы. А Майлса просят не возвращаться совсем.

Она заметно покраснела под моим пристальным взглядом.

– Не хотят брать его обратно?

– Решительно отказываются.

Она стояла отвернувшись, но тут подняла глаза, и я увидела, что они полны слез.

– Что же такое он сделал?

Я сначала колебалась, потом решила, что лучше всего просто отдать ей письмо в руки, однако это только заставило ее, не взяв письма, убрать руки за спину. Она грустно покачала головой.

– Не про меня писано, мисс.

Моя советчица не умела читать! Я поморщилась, смягчила, как могла, свой промах и развернула письмо, чтобы прочитать его миссис Гроуз, но, не решившись, снова сложила его и сунула в карман.

– Он и правда плохо себя ведет? – Слезы все стояли в ее глазах. – Эти господа так говорят?

– В подробности они не вдаются. Они только выразили сожаление, что не имеют возможности держать его в школе. Это может значить лишь одно...

Миссис Гроуз слушала в немом волнении; она не осмелилась спросить меня, что именно это может значить, и потому, немного помолчав, я продолжала, хотя бы для того, чтобы уяснить дело самой себе с помощью присутствия миссис Гроуз.

– Что он портит других детей.

Тут она вся вспыхнула с той быстротой перехода, какая свойственна простым людям:

– Майлс! Это он-то портит?!

На меня хлынуло такое море доверия, что, хотя я еще не видела ребенка, самые мои страхи показались мне сущей нелепостью. Чтобы моя приятельница поняла меня лучше, чтобы ближе подойти к ней, я откликнулась на ее слова саркастическим тоном:

– Своих сверстников, бедных невинных крошек!

– Ужасы какие! – воскликнула миссис Гроуз. – Ну можно ли говорить такие бессердечные слова! Ведь ему и десяти лет еще нет!

– Да, да. Это просто невысказано.

Она явно обрадовалась такому суждению.

– Вы сначала поглядите на него, мисс. А потом уж – поверите!

Мне нетерпеливо захотелось сию минуту его увидеть: так зарождалось любопытство, которое в ближайшие часы должно было углубиться до страдания. Насколько я могла судить, миссис Гроуз понимала, какое впечатление она произвела, и твердо направляла меня к своей цели.

– Еще бы вы и про маленькую леди тому же поверили! Вы только взгляните на нее, господь с ней!

Я обернулась и увидела, что Флора, которую за десять минут до того я оставила в детской перед чистым листом бумаги, карандашом и прописью с хорошенькими круглыми «О», теперь появилась перед нами в открытых дверях. Она по-своему, по-детски, выражала крайнюю отрешенность от надоедливых уроков, однако глядела на меня с тем светлым детским выражением, которое говорило, что одна только зарождающаяся привязанность к моей особе заставляет ее неотступно ходить за мной по пятам. Мне же не нужно было ничего другого, чтобы почувствовать всю силу сравнения миссис Гроуз, и, заключив в объятия мою воспитанницу, я покрыла ее личико поцелуями, в которых слышался отзвук рыданий, искупающих мою вину.

Тем не менее весь остальной день я искала случая подойти к моей подруге, особенно потому, что к вечеру мне начало казаться, будто она меня избегает. Помню, что я перехватила ее на лестнице, мы вместе сошли вниз и у подножия лестницы я остановила ее, положив руку ей на плечо.

– То, что вы сказали мне нынче в полдень, я сочту заявлением, что вы никогда не знали за мальчиком ничего худого.

Миссис Гроуз откинула голову назад; на сей раз она явно и очень старательно играла какую-то роль:

– Чтоб я никогда ничего такого не знала, нет, за это не поручусь!

Я снова заволновалась:

– Так, значит, вы знали?..

– Да, да, мисс, слава богу!

Подумав, я согласилась с ней:

– Вы хотите сказать, что если мальчик никогда?..

– Тогда это не мальчик, по-моему!

Я обняла ее крепче.

– Вам больше правится, когда мальчики склонны проказничать? – И чтобы не отстать от нее, я живо подхватила: – И мне тоже! Но не до такой же степени, чтобы развращать других...

– Развращать? – Мое громкое слово не дошло до нее.

Я объяснила:

– Портить.

Она глядела на меня пристально, стараясь понять смысл моих слов, но они вызвали у нее неуместный и непонятный смех.

– Вы боитесь, как бы он и вас не испортил?

Она задала этот вопрос с таким чудесным, таким откровенным юмором, что и я тоже рассмеялась, не желая отставать от нее, смехом, звучащим не слишком умно, и на время отступила с расспросами из страха показаться смешной.

Но на следующий день, перед тем как нам подали коляску, я попыталась разведать о другом.

– А какая была та особа, что жила здесь до меня?

– Бывшая гувернантка? Она тоже была молодая и хорошенькая... почти такая же молоденькая и почти такая же хорошенькая, как вы, мисс.

– Ах, в таком случае надеюсь, что ее молодость и красота помогли ей! – помню, нечаянно вырвалось у меня. – Кажется, он любит нас молодыми и красивыми!

– Ох, так оно и было, – подтвердила миссис Гроуз. – Вот за это он всех и любил! – Но, едва договорив, она тут же спохватилась: – Я хочу сказать, мисс, что это у него, у милорда, такая привычка.

Я поразились.

– А о ком же вы говорили сначала?

Ее взгляд не выразил ничего, но она покраснела.

– Да о нем же.

– О милорде?

– А о ком же еще?

Ничего другого тут не могло быть, и в следующую минуту впечатление, будто она нечаянно проговорила и сказала больше, чем хотела, прошло; я только спросила о том, что мне хотелось узнать:

– А она замечала за мальчиком что-нибудь?..

– Что-нибудь дурное? Она мне никогда ничего не говорила.

Я почувствовала угрызения совести, но преодолела их.

– Была она заботлива... внимательна?

Миссис Гроуз задумалась, словно ей хотелось ответить добросовестно.

– В некоторых отношениях – да.

– Но не во всем?

Она опять задумалась.

– Что же вам сказать, мисс, – ее больше нет. Сплетничать я не буду.

– Я очень хорошо понимаю вас, – поспешила я ответить, но через минуту решила продолжать вопреки этой оговорке: – Она здесь и умерла?

– Нет... она уехала.

Не знаю, что именно в краткости ответов миссис Гроуз показалось мне двусмысленным.

– Уехала умирать?

Миссис Гроуз глядела в окно, но мне казалось, что я все же вправе узнать, какого поведения ожидают от молодой особы, служащей в усадьбе Блай.

– Вы хотите сказать, что она захворала и уехала домой?

– У нас в доме она не хворала, ничего такого не было заметно. Она уехала в конце года домой отдохнуть ненадолго, и сама так говорила, и уж, конечно, имела право отдохнуть, прослужив столько времени. У нас была тогда одна молодая женщина, бывшая нянька, которая осталась жить здесь, – хорошая, ловкая девушка, – и на это время мы ее приставили к детям. А наша мисс больше не вернулась, и, как раз когда мы ее поджидали, я узнала от милорда, что она умерла.

Я задумалась над ее словами.

– Но от чего же?

– Он мне не сказал! Извините, мисс, мне надо идти работать.

III

То, что она вдруг повернулась ко мне спиной, к счастью для меня, озабоченной всеми этими мыслями, оказалось не настолько обидным, чтобы препятствовать все возраставшему между нами чувству взаимного уважения. После того как я привезла домой маленького Майлса, мы с ней встретились еще дружелюбнее, несмотря на мою полную растерянность и взволнованность: чтобы такого ребенка, какой сейчас предстал передо мною, можно было подвергнуть отлучению – нет, я готова была назвать это чудовищным. Я немного опоздала на место свидания, и, когда он стоял перед дверями гостиницы, где высадил его почтовый дилижанс, в задумчивости поджидая меня, я почувствовала, что вижу его всего, извне и изнутри, в полном блеске и свежести, в том жизнеутверждающем благоухании чистоты, в каком я с первой же минуты увидела и его сестру. Он был невероятно хорош собой, а миссис Гроуз еще подчеркнула это: его появлением было сметено все, кроме бурной нежности к нему. Я раз навсегда привязалась к мальчику всем сердцем. За то божественное, чего я потом не могла найти в равной степени ни в одном ребенке; за то не передаваемое ничем выражение, что в этом мире он не знает ничего, кроме любви. Невозможно было бы носить свою дурную славу с большей кротостью и невинностью, и когда я вернулась вместе с ним в Блай, то чувствовала себя озадаченной, если не оскорбленной при мысли о том, что ужасное письмо лежит у меня в комнате под замком, в комод. Как только я смогла перемолвиться словом с миссис Гроуз, я прямо сказала ей, что это возмутительно и нелепо.

Она сразу поняла меня.

– Вы про это жестокое обвинение?

– Да... ему ни минуты не веришь. Милая моя, вы только взгляните на мальчика!

Она улыбнулась на такую претензию – будто бы я первая открыла его обаяние.

– Я только и делаю, что гляжу на него. Ну, что же вы теперь ответите, мисс? – тут же прибавила она.

– На это письмо? – Я уже решила. – Ничего не отвечу.

– А его дяде?

Я упорствовала:

– И дяде ничего.

– А самому мальчику?

Я ее удивила:

– И мальчику ничего не скажу.

Она решительно утерла губы фартуком.

– Тогда я буду стоять за вас. Вдвоем с вами мы выдержим.

– Вдвоем мы с вами выдержим! – горячо откликнулась я, подавая руку миссис Гроуз, как бы для того, чтобы скрепить нашу клятву.

С минуту она держала мою руку в своей, потом еще раз утерлась фартуком.

– Вы не обидитесь, мисс, если я себе позволю...

– Поцеловать меня? Нет, не обижусь.

Я поцеловала эту добрую женщину, и, когда мы обнялись как сестры, я почувствовала себя еще более разгневанной и еще более твердой в своем решении.

Так, во всяком случае, было в то время – время до того полное событий, что теперь, когда я вспоминаю, как стремительно оно уходило, мне становится понятно, сколько надобно искусства, чтобы отчетливо изложить нарастающий ход событий. На что я оглядываюсь с изумлением, так это на ту ситуацию, с которой я мирилась. Я приняла решение довести дело до конца совместно с моей компаньонкой и, по-видимому, оказалась во власти каких-то чар, воображая, что преодолеть все, даже очень отдаленно связанное с этим непосильным подвигом, будет не

слишком трудно. Высокая волна жалости и любви подняла меня на гребень. В моей неискренности, в моем смятении и, быть может, в моей самонадеянности мне казалось очень простой задачей поладить с мальчиком, воспитание которого для общества только-только началось. Не могу даже припомнить сейчас, какие планы я строила, чтобы закончить каникулы и возобновить с ним занятия. В самом деле, нам всем казалось, что этим прелестным летом ему полагалось брать у меня уроки, но теперь я понимаю, что несколько недель эти уроки брала я. Я узнала кое-что такое, вначале во всяком случае, чему не обучали в моей мелкой и душевной жизни: научилась развлекаться и даже развлекать и не думать о завтрашнем дне. Впервые я поняла, что такое простор, воздух и свобода, вся музыка лета и вся тайна природы. А кроме того, была и награда, и награда эта была сладка. О, это была ловушка – непредумышленная, но хитрая, – ловушка для моей фантазии, для моей деликатности, быть может, для моего тщеславия; для всего, что было во мне самым экспансивным, самым возбудимым. Всего нагляднее будет сказать, что я забыла об осторожности. С детьми было так мало хлопот, они были так необычайно кротки. Бывало, я пускалась воображать – но даже и это смутно и бессвязно, – как грубая будущность (ибо всякая будущность груба!) изомнет их и может им повредить. Они цвели здоровьем и счастьем; и все же у меня на руках были как будто два маленьких гранда, два принца крови, которых все, как полагается, должно было защищать и ограждать, и единственное подходящее место для них, как мне казалось, было нечто вроде королевского, поистине романтического парка или обширного сада. Возможно, разумеется, что главным тут было очарование тишины – молчания, в котором что-то назревает или подкрадывается. Внезапная перемена была действительно похожа на прыжок зверя.

Первые недели дни тянулись долго; нередко, в самую лучшую погоду, они давали мне то, что я называла своим собственным часом; когда для моих воспитанников уже приходило время чая и дневного сна, я позволяла себе маленькую передышку в одиночестве, перед тем как ретироваться окончательно. Как ни нравились мне мои товарищи, этот час в распорядке дня я любила больше всего. Я любила его больше всего тогда, когда дневной свет уже угасал, или, лучше сказать, день медлил, и в румянном небе последние зовы последних птичек звучали со старых деревьев, – тогда я могла обойти весь парк, наслаждаясь красотой и благородством поместья, с каким-то чувством собственности, что меня забавляло. В эти минуты было радостью чувствовать себя спокойной и правой; а также, конечно, думать, что благодаря моей скромности, моему здравому смыслу и вообще высокому чувству такта и приличия я доставляю удовольствие – если б он хоть когда-нибудь подумал об этом! – человеку, настояниям которого я подчинилась. Я делала как раз то, на что он горячо надеялся и чего прямо просил у меня, а то, что я могла это сделать, в конце концов принесло мне даже больше радости, чем я ожидала. Словом, я воображала себя весьма замечательной молодой особой и утешалась мыслью, что когда-нибудь это станет более широко известно. Что ж, мне и впрямь нужно было быть исключительной женщиной, чтобы оказать сопротивление тому исключительному, что вскоре впервые дало знать о себе.

Это случилось после полудня, как раз посередине моего часа; детей уложили, я вышла на прогулку. Во время этих скитаний одна из моих мыслей была, что поскольку я теперь ничего не боюсь, то было бы очаровательно встретить кого-то, словно в каком-нибудь увлекательном романе. Этот кто-то появился бы на повороте дорожки, остановился бы передо мною и благоклонно улыбнулся. Большого я и не просила: только чтоб он знал; а единственным путем увериться, что он знает, было увидеть его улыбку и мягкий свет, озаряющий его красивое лицо. Оно так и стояло передо мною – я хочу сказать, его лицо, – когда, в первом из этих случаев, в конце долгого июньского дня, я остановилась как вкопанная на опушке рощи, откуда виден был дом. Остановило меня на месте – и с потрясением большим, чем допустимо для какого угодно видения, – чувство, что моя фантазия мгновенно обратилась в реальность. Там стоял он! Но высоко, за лужайкой, на самом верху той башни, куда меня водила маленькая Флора

в первое утро после моего приезда. Эта башня была одной из двух башен – квадратных, неуклюжих, зубчатых сооружений, которые почему-то различались друг от друга как новая и старая, хотя, на мой взгляд, разницы не было почти никакой. Они стояли на противоположных концах дома и в архитектурном отношении были просто нелепы; правда, в известной мере это искупалось тем, что они совсем отделялись от здания и были не слишком высоки, относясь в своей пряничной древности ко времени, возрождавшему романтику, которая стала уже почтенным прошлым. Я любовалась ими, фантазировала о них, ибо все мы могли до некоторой степени проникнуться их величием, особенно в сумерки, когда их зубцы казались такими внушительными; однако же не на таком возвышении подобало явиться фигуре, которую я так часто вызывала в своих мыслях.

Эта фигура, сколько помню, в ясных сумерках произвела на меня сильное впечатление, и у меня дважды перехватило дыхание. Меня потрясло то, что я поняла, как обмануло меня это первое впечатление: человек, с которым встретился мой взгляд, был не тот, кого мне хотелось бы встретить. Так пришло ко мне видение, мираж, о котором, спустя столько лет, я даже не надеюсь дать сколько-нибудь живое представление. Всякого незнакомого мужчину, встреченного в уединенном месте, молодой женщине, получившей домашнее воспитание, положено пугаться, а фигура, представшая передо мною (через несколько секунд я убедилась в этом), была непохожа ни на кого из знакомых мне людей, тем менее на образ, всегда витавший передо мною. Я не видела этого человека на Гарлей-стрит – я нигде его не видела. Более того, самое место невероятнейшим образом вмиг, и именно в силу его появления, превратилось в пустыню. Сейчас, когда я это пишу, чувство той минуты возвращается ко мне с полной силой. Для меня, когда я поняла, в чем дело, да и поняла ли, все вокруг было как будто поражено смертью. Сейчас, когда я это пишу, я снова слышу то напряженное молчание, в котором потонули все вечерние звуки. Грачи перестали кричать в вечернем небе, и этот благосклонный час утратил в ту минуту все свои голоса. Но другой перемены в природе не было, кроме разве того, что я видела все вокруг с обостренной зоркостью. Золото все еще разливалось в небе, воздух был прозрачен, и мужчина, который глядел на меня поверх башенных зубцов, был виден четко, словно картина в раме. Вот что с необычайной быстротой подумала я о том человеке, которым он мог бы быть и которым все же не был. Мы довольно долго стояли друг против друга на расстоянии – достаточно долго для того, чтобы я могла задать себе вопрос, кто же он такой, и, не будучи в состоянии на него ответить, прийти в изумление, которое через несколько секунд еще усилилось.

Важный вопрос, или один из многих вопросов, возникших впоследствии, – сколько все это длилось. Думайте что хотите, но мое видение длилось, пока я ломала голову над десятком возможностей, как мне встретиться с этим человеком, который живет в том же доме и, главное, может быть, давно живет, а я о нем ничего не знаю. Все это длилось, пока я переживала обиду: мне казалось, будто моя должность требует, чтобы не было ни этого моего незнания, ни этого человека. Так продолжалось все время, пока незнакомец – и, сколько помнится, была какая-то странная вольность, что-то фамильярное в том, что он был без шляпы, – пронизывал меня взглядом со своей башни при меркнувшем свете дня, именно с тем же вопросительным и испытующим выражением, какое внушал мне его вид. Мы были слишком далеко друг от друга, чтобы подать голос, но, если бы расстояние было короче, какой-нибудь окрик, нарушающий молчание, был бы верным следствием нашего прямого и пристального взгляда. Он стоял на одном из углов башни, самом отдаленном от дома, стоял очень прямо, что поразило меня, положив на перила обе руки. Таким я видела его, как вижу сейчас буквы, наносимые мной на эту страницу; потом, ровно через минуту, он переменял место и медленно прошел в противоположный угол площадки, не отрывая от меня взгляда. Да, я остро ощущала, что в продолжение этого перехода он все время не сводит с меня глаз, и даже сейчас я вижу, как он переносит

руку с одного зубца на другой. Он постоял на другом углу, но не так долго, и, даже когда он повернулся, он все так же упорно смотрел на меня. Он повернулся – и это все, что я помню.

IV

Нельзя сказать, что я не стала ждать дальнейшего, ибо я была пригвождена к месту глубоким потрясением. Неужели в усадьбе Блай имеется своя тайна – какое-нибудь «Удольфское таинство» или полоумный родственник, которого держат в заточении, не вызывая, однако, никаких подозрений? Не могу сказать, долго ли я обдумывала это, долго ли со смешанным чувством любопытства и страха оставалась на месте встречи; помню только, что, когда я вернулась в дом, было уже совсем темно. Волнение в этот промежуток времени, конечно, владело мной и подгоняло меня, и я прошла не меньше трех миль, кружа вокруг того места. Но впоследствии мне предстоял еще более сильный удар, так что эта заря тревоги вызвала еще сравнительно человеческую дрожь. Действительно, самое странное в этой дрожи – странное, сколь и все остальное, – было то, что стало мне ясно при встрече в холле с миссис Гроуз. Эта картина возвращается ко мне постоянно: впечатление, которое произвел на меня белый, обшитый панелями просторный холл с портретами и красным ковром, ярко освещенный лампами, и добродушно-изумленный взгляд моей подруги, немедленно сказавший мне, что она меня искала. Я поняла, что при ее простодушии она не имеет понятия, что за историю я собираюсь ей рассказать. До этого я не подозревала, насколько ее милое лицо может подбодрить меня, и странным образом я измерила значение того, что видела, только тогда, когда решила не говорить ей ничего. Вряд ли что-либо другое во всем этом кажется мне таким странным, как то, что настоящий страх начался для меня со стремления пощадить мою подругу. И потому тут же в уютном холле, чувствуя на себе ее взгляд, по причине, которую я тогда не могла бы выразить словами, я мгновенно перестроилась внутренне – выдумала какой-то предлог для опоздания и, сказав что-то о красоте вечера, сильной росе и промокших ногах, поскорее ушла к себе в комнату.

Там – совсем другое: там в течение долгих дней все было так странно! Изю дня в день бывали часы – или, по крайней мере, минуты, которые мне удавалось урвать от моих занятий с детьми, – когда мне приходилось запираяться, чтобы подумать. Нельзя сказать, чтобы я нервничала сверх меры, скорее я боялась до крайности, что нервы не выдержат, ибо правда, которую мне следовало обдумать, была, несомненно, той правдой о моем видении, какой я ни от кого не смогла бы добиться, о том незнакомце, с которым я была, мне казалось, неразрывно и необъяснимо связана. Мне понадобилось очень немного времени, чтобы понять, как надо расследовать это событие, не расспрашивая никого и незаметно для других, не вызывая никаких волнений среди домашних. Потрясение, испытанное мною, должно быть, обострило все мои чувства: через три дня, в результате лишь более пристального внимания, я знала наверное, что не слуги меня дурачили и что я не была жертвой какой-либо шутки. Всем окружающим было известно что-то, о чем я и не подозревала. Напрашивался только один здравый вывод: кто-то позволил себе довольно грубую выходку. Вот что я повторяла каждый раз, ныряя в свою комнату и запираясь на ключ. Все мы вместе стали жертвой непрошеного вторжения: какой-то бесцеремонный путешественник, интересующийся старинными домами, прокрался в парк никем не замеченный, полюбовался видом с самого лучшего места и выбрался вон так же, как пришел. Если он посмотрел на меня таким жестким и наглым взглядом, то это только его бесцеремонность. В конце концов, хорошо и то, что мы, наверное, никогда больше его не увидим.

Допускаю, что это было не совсем ладно, и я могла бы составить себе более правильное суждение на этот счет, но самым важным для меня была моя упоительная работа, и рядом с ней ничто не имело значения. Моя упоительная работа – это моя жизнь с Майлсом и Флорой, и ничем другим не могла она полюбиться мне больше, как чувством, что я могу уйти в нее от всякой беды. Привлекательность моих маленьких питомцев была постоянной радостью, заставлявшей меня каждый раз наново изумляться напрасности моих первоначальных страхов

и отвращению перед серой прозой моей должности. Казалось, не должно было быть ни серой прозы, ни тяжелого однообразного труда, так как же не назвать упоительной такую работу, которая представлялась мне каждодневной красотой? Все это была романтика детской и поэзия классной. Разумеется, я не хочу сказать, что мы заучивали только стихи и сказки: я просто не могу иначе выразить тот род интереса, который мне внушали мои питомцы. Можно ли это описать иначе, как сказав, что, вместо того чтобы привыкнуть к ним, а это вовсе не чудо для гувернантки, – призываю в свидетельницы всех моих сестер! – я постоянно делала все новые открытия. Но, несомненно, был один путь, где эти исследования сразу прекращались: глубокий мрак по-прежнему покрывал все, что касалось поведения мальчика в школе. Как я заметила, мне быстро удалось овладеть собой и без боли смотреть в лицо этой тайне. Быть может, ближе к правде будет даже сказать, что он сам – не говоря ни единого слова – разъяснил ее, обратив все это обвинение в нелепость. Мой вывод процвел истинно розовым цветом, подобно невинности Майлса: мальчик был слишком чист и ясен для отвратительного школьного мирка и поплатился за это. Я напряженно размышляла о том, что перевес в различии характеров и превосходство в положении всегда на стороне большинства – куда входят и тупые, низкие директора школ, – и толкает это большинство к жестокой расплате.

Оба ребенка отличались кротостью, которая (это был их единственный недостаток, но и он не делал Майлса разиней) – как бы это выразиться? – придавала им нечто безличное и совершенно ненаказуемое. Они были похожи на херувимов из анекдота, которых – морально, во всяком случае, – не по чему было отшлепать. Помню, я чувствовала себя, особенно с Майлсом, так, как будто у него не было никакой истории в школе. Мы не ждем от малого ребенка предыстории, богатой событиями, но в этом прелестном мальчике было что-то необычайно нежное и необычайно счастливое, что как будто рождалось сызнова каждый день и поражало в нем больше, чем в других детях его лет. Он вообще никогда не страдал, ни единой секунды. Я приняла это за прямое опровержение того, будто он и в самом деле был наказан. Если б он был так испорчен, по нему это было бы видно, и я бы это заметила, напала бы на какой-то след. А я ничего не заметила, ровно ничего, и, следовательно, он был сущий ангел. Он никогда не говорил о школе, никогда не поминал кого-нибудь из товарищей или учителей, я же со своей стороны была так возмущена их несправедливостью, что и не намекала на них. Разумеется, я была околдована, и всего удивительнее то, что даже в то время я отлично это сознавала. Но все же я поддалась чарам: они умеряли мою муку, а у меня эта мука была не единственная. В те дни я получила тревожные вести из дому, где дела шли неладно. Но что это значило, если у меня оставались мои дети? Этот вопрос я задавала себе в минуты уединения. Детская прелесть моих питомцев ослепляла меня.

Было одно воскресенье – начну с этого, – когда дождь лил с такой силой и столько часов подряд, что не было никакой возможности идти в церковь, и потому уже на склоне дня я договорилась с миссис Гроуз, что, если вечером погода улучшится, мы вместе отправимся к поздней службе. К счастью, дождь перестал, и я приготовилась выйти на прогулку, по аллее через парк и по хорошей деревенской дороге, которая должна была занять минут двадцать. Сходя вниз, чтобы встретиться с моей товаркой в холле, я вспомнила о перчатках, которые требовали починки и были заштопаны, публично и, быть может, не слишком назидательно, пока я сидела с детьми за чаем – в виде исключения чай подавался по воскресеньям в холодном, опрятном храме из мрамора и бронзы, в столовой «для взрослых». Перчатки там и остались, и я зашла за ними; день был довольно пасмурный, но вечерний свет еще медлил, и это помогло мне не только сразу обнаружить перчатки на стуле у широкого окна, в тот час закрытого, но и заметить человека по ту сторону окна, глядевшего прямо в комнату. Одного шага в столовую было достаточно: мой взгляд мгновенно охватил и вобрал все разом. Лицо человека, глядевшего прямо в комнату, было то же – это был тот самый, кто уже являлся мне. И вот он явился снова, не скажу с большей ясностью, ибо это было невозможно, но совсем близко, и эта бли-

зость была шагом вперед в нашем общении и заставила меня похолодеть и задохнуться. Он был все тот же и виден на этот раз, как и прежде, только до пояса – окно, хоть столовая и была на первом этаже, не доходило до пола террасы, где он стоял. Его лицо прижималось к стеклу, но эта большая близость только напомнила мне странным образом, как ярко было видение в первый раз. Он оставался всего несколько секунд, но достаточно долго, чтобы я могла убедиться, что и он тоже узнает меня, и было так, словно я смотрела на него целые годы и знала его всю жизнь. Что-то, однако, произошло, чего не было прежде: он смотрел мне в лицо (сквозь стекло и через комнату) все тем же пристальным и жестким взглядом, как и тогда, но этот взгляд оставил меня на секунду, и я могла видеть, как он переходит с предмета на предмет. Сразу же меня поразила уверенность в том, что не для меня он явился сюда. Он явился ради кого-то другого.

Проблеск познания – ибо это было познанием среди мрака и ужаса – произвел на меня необычайное действие: он вызвал внезапный прилив чувства долга и смелости. Я говорю о смелости, потому что, вне всякого сомнения, я крайне осмелела. Я бросилась вон из столовой к входной двери, в одно мгновение очутилась на дорожке и, промчавшись по террасе, обогнула угол и окинула взглядом аллею. Однако видеть было уже нечего – незнакомец исчез. Я остановилась и чуть не упала, чувствуя подлинное облегчение; я оглядела место действия, давая призраку время вернуться. Я называю это «временем», но как долго оно длилось? Сегодня я не могу, в сущности, говорить о длительности всего события. Чувство меры, должно быть, покинуло меня: все это не могло длиться так долго, как мне тогда показалось. Терраса и все, что ее окружало, лужайка и сад за нею, парк, насколько он был мне виден, были пустынно великой пустынностью. Там были и кустарники, и большие деревья, но я помню свою твердую уверенность, что ни за одним из них не скрывается призрак. Он был или не был там: не был, если я его не видела. Это я понимала; потом, инстинктивно, вместо того чтобы вернуться той же дорогой в дом, я подошла к окну. Почему-то мне смутно представилось, что я должна стать на то же место, где стоял призрак. Я так и сделала: прижалась лицом к стеклу и заглянула в комнату, как заглядывал он. И в эту минуту, как будто для того, чтобы показать мне точно, на каком расстоянии от меня он стоял, из холла вошла миссис Гроуз, так же как до нее это сделала я. И тут я получила полное представление о том, что произошло. Она увидела меня так же, как я видела незнакомца; как и я, она сразу остановилась – я потрясла ее так же, как была потрясена сама. Она вся побелела, и это заставило меня задать себе вопрос: неужели и я так же побледнела? Словом, она и смотрела как я, и отступала по моим следам, и я знала, что она вышла из комнаты и пошла кругом дома ко мне, а сейчас я с ней должна встретиться. Я осталась там, где была, и, пока дожидалась ее, успела подумать о многих вещах. Но я упомяну только об одной из них. Мне хотелось знать: почему она испугалась?

V

О, это я узнала от нее скоро, очень скоро, как только, обогнув угол, она снова показалась в виду.

– Господи боже мой, что такое с вами?.. – Она вся покраснелась и запыхалась.

Я молчала, пока она не подошла ближе.

– Со мною? – Должно быть, лицо у меня было странное. – Разве по мне что-нибудь заметно?

– Вы белая как простыня. Смотреть страшно!

Я подумала: теперь, без всяких угрызений совести, я не отступлю перед любой степенью невинности. Бремя уважения к невинности миссис Гроуз беззвучно свалилось с моих плеч, и если я колебалась с минуту, то вовсе не из-за того, о чем умалчивала. Я протянула ей руку, и она приняла ее; на секунду я крепко сжала ее руку – мне было приятно, что она тут, рядом. В ее робком, взволнованном удивлении чувствовалась все же какая-то поддержка.

– Вы, конечно, пришли звать меня в церковь, но я не могу идти.

– Что-нибудь случилось?

– Да. Теперь и вы должны это узнать. Вид у меня был очень странный?

– Через окно? Ужасный!

– Так вот, – сказала я, – меня напугали.

Глаза миссис Гроуз ясно выразили и нежелание пугаться, и то, что она слишком хорошо знает свое место, а потому готова разделить со мною любую явную неприятность. О, было твердо решено, что она ее разделит!

– То, что вы видели из окна столовой, сходно с тем, что минуту назад видела я. Но мое видение было много хуже.

Ее рука сжалась еще крепче.

– Что это было?

– Какой-то чужой человек. Заглядывал в окно.

– Что за человек?

– Не имею понятия.

Миссис Гроуз тщательно озиралась кругом.

– Так куда же он делся?

– И этого не знаю.

– А раньше вы его видели?

– Да, однажды. На старой башне.

Она только еще пристальнее взглянула на меня.

– Вы думаете, что это был чужой?

– Ну еще бы!

– И все-таки вы мне ничего не сказали?

– Нет, на то были причины. Однако сейчас, когда вы уже догадались...

Круглые глаза миссис Гроуз отразили мое обвинение.

– Ох, нет, я не догадалась! – очень просто сказала она. – Где уж мне было догадаться, когда и вы не могли?

– Ни в коей мере.

– Вы нигде его не видели, кроме как на башне?

– И вот только что, на этом самом месте.

Миссис Гроуз снова огляделась.

– Что же он делал на башне?

– Просто стоял там и смотрел на меня сверху.

Она подумала с минуту.

– Это был джентльмен?

Тут я даже не задумалась.

– Нет.

Она глядела на меня еще удивленнее.

– Нет.

– Тогда, может быть, кто-нибудь из здешних? Может быть, кто-нибудь из деревни?

– Нет, не здешний... не здешний. Вам я не говорила, но я это проверила.

Она вздохнула со смутным облегчением: странное дело, так ей показалось много лучше.

Но это еще ничего не доказывало.

– Но если он не джентльмен...

– То что это такое? Это ужас.

– Ужас?

– Это... господа, помогите мне, но я не знаю, кто он такой!

Миссис Гроуз еще раз оглянулась вокруг: она остановила взгляд на темнеющей дали, затем, собравшись с духом, снова повернулась ко мне с неожиданной непоследовательностью:

– Нам бы пора в церковь.

– Я не в состоянии идти в церковь.

– Разве вам это не поможет?

– Вот им не поможет!.. – Я кивком головы указала на дом.

– Детям?

– Я не могу сейчас их оставить.

– Вы боитесь?..

Я решительно ответила:

– Да. Боюсь его.

При этом на широком лице миссис Гроуз впервые показался далекий и слабый проблеск ясного понимания. Я различила на нем запоздалый свет какой-то мысли, которую не я ей внушила и которая была еще темна мне самой. Мне вспоминается, как я почувствовала, будто что-то передалось мне от миссис Гроуз, и что это связано с только что проявленным ею желанием узнать больше.

– Когда это было... на башне?

– В середине месяца. В этот самый час.

– Почти в темноте? – спросила миссис Гроуз.

– О нет, было совсем светло. Я его видела, вот как вижу вас.

– Так как же он вошел туда?

– И как он вышел? – улынулась я. – У меня не было возможности спросить его! Вы же видите, нынче вечером ему не удалось войти, – продолжала я.

– Он только заглядывал в окно?

– Надеюсь, дело этим и кончится!

Тут она выпустила мою руку и слегка отвернулась. Я подождала с минуту, потом решительно сказала:

– Идите в церковь. Всего вам хорошего. А мне надо их стеречь.

Она снова медленно повернулась ко мне.

– Вы боитесь за них?

Мы обменялись еще одним долгим взглядом.

– А вы?

Вместо ответа она подошла ближе к окну и на минуту прижалась лицом к стеклу.

– Вы видите то, что и он видел, – тем временем продолжала я.

Она не шевельнулась.

– Сколько он здесь пробыл?

– Пока я не вышла. Я бросилась ему навстречу.

Миссис Гроуз наконец обернулась, и ее лицо выразило все остальное.

– Я бы не могла так!

– Я тоже не могла бы, – опять улыбнулась я. – Но все-таки вышла. Я знаю свой долг.

– И я свой знаю, – возразила она, после чего прибавила: – На кого он похож?

– Мне до смерти хотелось бы ответить вам на ваш вопрос, но он ни на кого не похож.

– Ни на кого? – эхом отозвалась она.

– Он был без шляпы.

И, заметив по ее лицу, что она уже в этом одном увидела начало портрета и встревожилась еще сильнее, я стала быстро добавлять черту за чертой.

– У него рыжие волосы, ярко-рыжие, мелко вьющиеся, и бледное длинное лицо с правильными, красивыми чертами и маленькими, непривычной формы бакенами, такими же рыжими, как волосы. Брови у него, однако, темнее, сильно изогнуты и кажутся очень подвижными. Глаза зоркие, странные – очень странные; я помню ясно только одно, что они довольно маленькие и с очень пристальным взглядом. Рот большой, губы тонкие, и, кроме коротких бакенов, все лицо чисто выбрито. У меня такое впечатление, что в нем было что-то актерское.

– Актерское?

Невозможно было походить на актрису меньше, чем миссис Гроуз в эту минуту.

– Я никогда актеров не видела, но именно так их себе представляю. Он высокий, подвижный, держится прямо, но ни в коем – нет, ни в коем случае – не джентльмен! – продолжала я.

Лицо моей товарки побелело при этих словах, круглые глаза остановились и мягкий рот раскрылся.

– Джентльмен? – ахнула она растерянно и смятенно. – Это он-то джентльмен?

– Так вы его знаете?

Она, видимо, старалась держать себя в руках.

– А он красивый?

Я поняла, как ей помочь.

– Замечательно красивый!

– И одет?..

– В платье с чужого плеча. Оно щегольское, но не его собственное.

У нее вырвался сдавленный подтверждающий стон.

– Оно хозяйское!

Я подхватила:

– Так вы знаете его?

– Квинт! – воскликнула она.

– Квинт?

– Питер Квинт, его личный слуга, его лакей, когда он жил здесь.

– Когда милорд был здесь?

Идя мне навстречу и не переставая изумляться, миссис Гроуз связала все это вместе.

– Он никогда не носил хозяйской шляпы, зато... ну, там недосчитались жилетов. Оба они были здесь – в прошлом году. Потом милорд уехал, а Квинт остался один.

Я слушала, но на минутку приостановила ее:

– Один?

– Один, с нами. – Потом, словно из глубочайших глубин, добавила: – Для надзора.

– И что же с ним стало?

Она медлила так долго, что я озадачилась еще больше.

– Он тоже... – наконец произнесла она.

– Уехал куда-нибудь?

Тут ее лицо стало крайне странным.

– Бог его знает, где он! Он умер.

– Умер? – чуть не вскрикнула я.

Казалось, она нравственно выпрямилась, нравственно окрепла, чтобы выразить словами то, что было в этом сверхъестественного:

– Да. Мистер Квинт умер.

VI

Разумеется, понадобилось гораздо больше времени, чем эти несколько минут, для того, чтобы мы обе столкнулись с тем, что нам приходилось теперь переживать вместе – с моей ужасной восприимчивостью, слишком явно подтвердившейся в данном эпизоде; следовательно, и моя подруга тоже узнала теперь об этой моей восприимчивости – узнала, смущаясь и сочувствуя. Так как мое открытие на целый час ввергло меня в прострацию, обеим нам так и не довелось в тот день послушать церковную службу, кроме тех молений и обетов, тех слез и клятв, которые дошли до высшей точки в обоюдных просьбах и обещаниях. Все это кончилось тем, что мы с ней удалились в классную и заперлись там на ключ, чтобы объясниться. В результате наших объяснений мы просто подвели итоги. Сама миссис Гроуз ровно ничего не видела – не видела даже тени чего-нибудь такого, и никто из прислуги больше не попадал в беду, кроме той самой гувернантки; однако же миссис Гроуз поняла, что все рассказанное мною – правда, и нисколько не усомнилась, по-видимому, в моих умственных способностях; а под конец проявила даже проникнутую благоговейным страхом нежность ко мне и уважение к моим более чем сомнительным привилегиям – дыхание этой нежности до сих пор остается со мной как самое теплое из проявлений людского милосердия.

В этот-то вечер мы с нею и решили, что вдвоем, пожалуй, справимся и выдержим, и я отнюдь не уверена, что на долю миссис Гроуз пришлась более легкая часть ноши, несмотря на то что в ее обязанности это вовсе не входило. Думаю, что и тогда, как и впоследствии, я понимала, с чем готова сразиться, защищая своих питомцев, но мне потребовалось некоторое время, чтобы убедиться в том, что и моя честная союзница тоже согласна соблюдать условия столь ненадежного и невыгодного договора. Я была для нее довольно странной компаньонкой – ничуть не менее странной, однако, чем и она для меня; но, когда я пытаюсь проследить весь наш путь, все, что мы пережили вместе с нею, я понимаю, как много общего нашли мы обе в том единственном решении, которое могло поддержать нас обеих, на наше счастье. Это было то решение, то второе дыхание, которое вывело меня на прямую, если можно так выразиться, из внутренней темницы моего страха. По крайней мере, я смогла тогда подышать воздухом во дворе, и миссис Гроуз тоже ко мне присоединилась. Отлично помню и теперь, как странно вернулись ко мне силы перед тем, как мы с ней простились на ночь. Мы перебрали подробность за подробностью все, что мне пришлось увидеть.

– Вы говорите, он искал кого-то другого, не вас?

– Он искал маленького Майлса. Вот кого он искал. – Зловещая ясность вдруг обступила меня.

– А откуда вы знаете?

– Знаю, знаю, знаю! – Моя экзальтация все росла. – И вы тоже знаете, милая!

Она этого не отрицала, но я даже и не требовала, чтоб она выразила свое чувство словами.

Во всяком случае, через минуту она продолжала:

– А что, если б он увидел?

– Маленький Майлс? Ему только того и надо!

От страха она побледнела как смерть.

– Такому ребенку?

– Боже сохрани! Тому, другому. Это он хочет явиться им.

Что он может явиться, было ужасной возможностью, и все же я каким-то образом не допускала этой мысли; больше того, мне действительно удалось это доказать, пока мы гуляли во дворе. Я была абсолютно уверена, что могу снова увидеть то, что уже видела, но что-то говорило мне, что я одна должна пойти навстречу такому переживанию, одна принять, преодолеть все это, а преодолев, я послужила бы искупительной жертвой и охранила бы покой моих

сотоварищей. Детей в особенности я должна была оградить и спасти раз навсегда. Помню то, что я сказала миссис Гроуз напоследок:

– Меня поражает, что мои воспитанники ни разу не упомянули...

Она пристально смотрела на меня, пока я собиралась с мыслями.

– ...о том, что Квинт был здесь, и о том времени, когда дети были с ним?

– Ни о времени, когда они были с ним, ни его имени, ни внешности, ни его истории в той или иной форме.

– Да, маленькая не помнит. Она ничего не слышала и не знала.

– О его смерти? – Я напряженно размышляла. – Да, может быть. Но Майлс должен помнить, Майлс должен знать.

– Ах, не трогайте вы его! – вырвалось у миссис Гроуз.

Я ответила ей таким же пристальным взглядом.

– Не бойтесь. – Я продолжала размышлять. – Но это все же странно.

– Что Майлс никогда не поминал о нем?

– Никогда, ни единым намеком. А вы мне говорите, что они были «большие друзья»?

– Ох, только не Майлс! – убежденно пояснила миссис Гроуз. – Это у Квинта была такая выдумка. Играть с мальчиком, портить его. – Она помолчала минуту, потом прибавила: – Квинт очень уж вольничал.

Передо мной возникло его лицо – такое лицо! – и меня пронзила внезапная дрожь отвращения.

– Вольничал с моим мальчиком?

– Со всеми очень вольничал!

В ту минуту я не стала углубляться в ее определение, подумав только, что оно отчасти приложимо и к другим, к десятку служанок и слуг, составлявших нашу маленькую колонию. Но для нас самым важным было то счастливое обстоятельство, что никакая зловещая легенда, никакие кухонные пересуды не были на чьей бы то ни было памяти связаны с милым старинным поместьем. У него не было ни худого имени, ни дурной славы, а миссис Гроуз самым явным образом хотелось только быть поближе ко мне и дрожать в молчании. В конце концов я даже подвергла ее испытанию. Это было в полночь, когда она уже взялась за ручку двери, прощаясь со мной.

– Так вы говорите – ведь это очень важно, – что он был известен своей испорченностью?

– Не то чтоб известен. Это я знала, а хозяин не знал.

– И вы ему никогда не говорили?

– Ну, он не любил сплетен, а жалоб терпеть не мог. Все такое его ужасно сердило, и если человек для него был хорош...

– То он ничего и слушать не хотел? – Это совпадало с моим впечатлением: он не любил, чтоб его беспокоили, и, быть может, не слишком разбирался в людях, которые от него зависели. Тем не менее я настаивала: – Даю вам слово, что я бы ему сказала!

Она почувствовала, что я ее осуждаю.

– Признаться, я не так поступила, как надо. Но, по правде говоря, я побоялась.

– Побоялись чего?

– Того, что этот человек мог сделать. Квинт был такой хитрец, такая тонкая штучка.

На меня это подействовало сильнее, чем мне хотелось показать.

– А ничего другого вы не боялись? Его влияния?..

– Его влияния? – повторила она, глядя на меня встревоженно и выжидающе, пока я не вымолвила:

– На милых невинных крошек. Ведь они были на вашем попечении.

– Нет, не на моем! – откровенно и с отчаянием возразила она. – Хозяин верил Квинту и послал его сюда, потому что считалось, будто он болен и деревенский воздух ему полезен. Так что от его слова все зависело. Да, – она подчеркнула, – даже дети.

– Дети... от этой твари? – Я с трудом подавила стон. – Как же вы это терпели?

– Нет, я не могла терпеть и сейчас не могу! – И бедная женщина залилась слезами.

Как я уже говорила, начиная со следующего дня за детьми был установлен строгий надзор; и все же как часто и как горячо всю ту неделю мы возвращались к этой теме! Мы говорили и говорили с ней в воскресную ночь, а меня, особенно в поздние часы (можете себе представить, как мне спалось), все время преследовала тень чего-то, о чем миссис Гроуз умолчала. Я сама не утаила от нее ничего, но осталось одно только слово, которое утаила миссис Гроуз. Более того, к утру я убедилась, что она молчала не по недостатку откровенности, но потому, что у каждой из нас были свои страхи. Когда я оглядываюсь назад, мне в самом деле кажется, что к тому времени, как утреннее солнце поднялось высоко, я с тревогой прочла в известных нам событиях почти все то значение, какое должны были придать им события последующие, более трагические. Самое главное, они воссоздали для меня зловещую фигуру живого человека – о мертвом можно было не думать! – и те месяцы, когда он постоянно жил в усадьбе, складывались в долгий и страшный срок. Предел этому мрачному периоду был положен на рассвете зимнего дня, когда один из работников нашел Питера Квинта мертвым по дороге из деревни в усадьбу. Катастрофа объяснялась, хотя бы с виду, заметной раной на голове: такую рану можно было приписать, как оно и подтвердилось в дальнейшем, падению в темноте, по выходе из трактира, на скользком, обледенелом склоне, где нашли тело. Обледенелая тропа, неверный поворот, выбранный во тьме и в нетрезвом виде, объясняли очень многое, в сущности, после дознания следователя и неумной болтовни окружающих – почти все; но в его жизни были странные и рискованные приключения, тайные болезни, почти явные пороки – так что все это могло объяснить и гораздо большее.

Я не знаю, какими словами надо рассказывать эту историю, чтобы создалась достоверная картина моего душевного состояния, но в те дни я была способна черпать радость в необычайном взлете героизма, которого от меня требовали обстоятельства. Теперь я понимала, что от меня ждали трудной и очень значительной услуги и что было некое величие в том, чтобы дать заметить – о, тому, кому следует! – мою победу там, где другая девушка потерпела бы неудачу. Мне очень помогало то – признаться, и теперь, оглядываясь на прошлое, я аплодирую сама себе! – что я смотрела на мою услугу так смело и так просто. Я здесь для того, чтобы охранять и защищать этих детей, осиротевших и милых детей, чья беспомощность, ставшая вдруг слишком очевидной, отзывалась глубокой, постоянной болью в моем уже не свободном сердце. Действительно, мы вместе отрезаны от мира, мы объединены общей опасностью. У них нет никого, кроме меня, а у меня – что ж, у меня есть они. Словом, это великолепная возможность. И эта возможность представилась мне воплощенной в ярком образе. Я щит – я должна заслонять их. Чем больше вижу я, тем меньше должны видеть они. Я начала следить за ними, сдерживая и скрывая нарастающее волнение, которое могло, если бы затянулось, перейти в нечто подобное безумию. Как я теперь понимаю, спасло меня то, что оно перешло в нечто совершенно иное. Оно не затянулось – его сменили ужасные доказательства, улики. Да, повторяю, улики – с того самого момента, как я приступила к действию.

Этот момент начался с полуденного часа, который я проводила в парке с одной только младшей моей воспитанницей. Мы оставили Майлса дома лежащим в глубокой оконной нише на большой красной подушке: ему хотелось дочитать книгу, а я была рада поощрить такую похвальную склонность в мальчике, единственным недостатком которого бывала подчас крайняя непоседливость. Его сестра, напротив того, с удовольствием отправилась на прогулку, и мы с ней около получаса бродили в поисках тени, ибо солнце стояло еще высоко, а день был чрезвычайно жаркий. Гуляя с Флорой, я снова убедилась, что она, как и ее брат, умеет

– у обоих детей была эта очаровательная особенность – оставлять меня в покое, не бросая, однако, совсем одну, и разделять мое общество, не докучая своим присутствием. Они никогда не бывали назойливы и все же никогда не бывали невнимательны. Я же только наблюдала их самозабвенную игру вдвоем, без меня: казалось, они увлеченно готовят какой-то спектакль, а я в нем участвую как увлеченный зритель. Я входила в мир, созданный ими, им же незачем было входить в мой мир, и мое время бывало занято только тем, что я изображала собой какую-нибудь замечательную особу или предмет, которого в ту минуту требовала игра, словом, удаивалась высокого поста, веселой и благородной синекуры. Я не помню, что мне пришлось изображать в тот день, помню только, что я была чем-то очень важным и что Флора вся ушла в игру. Мы сидели на берегу озера, и, так как мы только что начали изучать географию, наше озеро называлось Азовским морем.

И вдруг до моего сознания дошло, что на другом берегу «Азовского моря» кто-то стоит и внимательно наблюдает за нами. Это знание постепенно накоплялось во мне очень странным отрывочным образом – необычайно странным, помимо того, что все это еще более странным образом быстро слилось воедино. Я сидела с работой в руках, изображая что-то такое, что могло сидеть, на старой каменной скамье, лицом к озеру, и с этой позиции я начала убеждаться мало-помалу, однако не видя этого прямо, в присутствии третьего лица на некотором расстоянии от нас. Старые деревья, густые кустарники давали много прохладной тени, но вся она была пронизана светом этого жаркого и тихого часа. Ни в чем не было двойственности, по крайней мере, ее не было в моей уверенности, возраставшей с минуты на минуту, что именно я увижу прямо перед собой на том берегу озера, как только подниму глаза. В эти минуты они не отрывались от шитья, которым я была занята, и сейчас я снова чувствую, с каким усилием давалось мне решение не поднимать глаз, пока я не придумаю, что же мне делать. В поле зрения была одна чуждая всему фигура, чье право присутствовать среди нас я мгновенно и страстно отвергла. Я перебрала решительно все возможное, говоря себе, что нет ничего естественнее появления кого-нибудь из работников фермы или даже посыльного, почтальона, например, или мальчика из деревенской лавочки. Такая мысль ничуть не поколебала моей твердой уверенности – ведь я знала, все еще не глядя, – кто это и к кому это явилось. Казалось бы, что могло быть естественнее, если б на том берегу все так и происходило, но, увы, этого не было!

Я убедилась в несомненной подлинности моего видения, как только маленькие часы моей храбрости правильно отстукали секунду, и, сделав над собой резкое до боли усилие, я тут же перевела глаза на маленькую Флору, которая сидела в десяти шагах от меня. Мое сердце замерло на миг от изумления и ужаса, я спрашивала себя, неужели и она видит; я боялась дышать, в ожидании, что она или вскрикнет, или иначе проявит простодушное изумление или тревогу. Я ждала, но никакого знака не было; тогда, во-первых, – и в этом, как я понимаю, есть что-то самое страшное – страшнее всего остального, о чем я рассказываю, – надо мною довлело чувство, что уже с минуту от нее не слышно ни звука; и во-вторых, то, что, играя, она вдруг повернулась спиной к озеру. Такова была ее поза, когда я наконец посмотрела на нее – посмотрела с твердым убеждением, что за нами обеими все еще кто-то наблюдает. Флора подобрала небольшую дощечку с отверстием посередине, и это, видимо, навело ее на мысль воткнуть туда веточку вместо мачты, чтобы получилась лодка. Я наблюдала, как она очень старательно пыталась укрепить веточку на месте. Мое подозрение, что она это делает нарочно, настолько укрепило меня, что спустя несколько секунд я уже почувствовала, что мне предстоит увидеть еще большее. Тогда я снова перевела глаза – и встретила лицом к лицу то, что должна была встретить.

VII

После этого я постаралась как можно скорее разыскать миссис Гроуз, и не в моих силах дать вразумительный ответ, что я перенесла за этот промежуток времени. Однако и до сих пор я слышу тот крик, с каким я бросилась прямо в ее объятия:

– Они знают... это просто чудовищно; они знают, знают!

– Но что же они знают?.. – Она обняла меня, и я почувствовала, что она мне не верит.

– Да все, что и мы знаем... и бог ведает, что еще сверх того!

И тут, когда она выпустила меня из своих объятий, я объяснила ей, объяснила, быть может, и самой себе с полной связностью только теперь:

– Два часа тому назад, в саду, – я это выговорила с трудом, – Флора видела!

Миссис Гроуз приняла мои слова так, как приняла бы удар в грудь.

– Она вам сказала? – спросила миссис Гроуз, задыхаясь.

– Ни единого слова – в том-то и ужас. Она затаила все про себя! Ребенок восьми лет, такой маленький ребенок!

И все же я не могла выразить всей меры моего потрясения. Миссис Гроуз, само собой, могла только раскрыть рот еще шире.

– Так откуда же вы знаете?..

– Я была там... я видела собственными глазами: я поняла, что и Флора отлично видит.

– То есть вы хотите сказать, видит его?

– Нет – ее.

Говоря это, я понимала, что на мне лица нет, ибо это постепенно отражалось на моей товарке.

– В этот раз – не он, но совершенно такое же воплощение несомненного ужаса и зла: женщина в черном, бледная и страшная... при этом с таким выражением, с таким ликом!.. на другом берегу озера. Я пробыла там с девочкой в тишине около часа; и вдруг среди этой тишины явилась она.

– Откуда явилась?

– Откуда все они являются! Неожиданно показалась и стала перед нами, но не так уж близко.

– И ближе не подходила?

– О, такое было чувство, словно она не дальше от меня, чем вы.

Моя товарка, повинувшись какому-то странному побуждению, сделала шаг назад.

– Это был кто-нибудь, кого вы никогда раньше не видели?

– Да, но кто-то такой, кого видела девочка. Кто-то, кого видели и вы. – И чтобы миссис Гроуз поняла, до чего я додумалась, я пояснила: – Моя предшественница – та, которая умерла.

– Мисс Джессел?

– Мисс Джессел. Вы мне не верите? – воскликнула я.

Она в отчаянии смотрела то вправо, то влево.

– Неужто вы уверены?..

Нервы мои были так натянуты, что это вызвало у меня взрыв раздражения:

– Ну так спросите Флору – она-то уверена!

Но не успела я произнести эти слова, как тут же спохватилась:

– Нет, ради бога, не спрашивайте! Она отперется... она солжет!

Миссис Гроуз растерялась, но не настолько, чтобы не возразить инстинктивно:

– Ах, что вы, как это можно?

– Потому что мне все ясно. Флора не желает, чтобы я знала.

– Ведь это только жалеючи вас...

– Нет, нет... там такие дебри, такие дебри! Чем больше я раздумываю, тем больше вижу, и чем больше вижу, тем больше боюсь. Но чего только я не вижу... чего только не боюсь!

Миссис Гроуз напрасно силилась понять меня.

– То есть вы боитесь, что опять ее увидите?

– О нет – это пустяки теперь! – И я объяснила: – Я боюсь, что не увижу ее.

Однако моя товарка только смотрела на меня растерянным взглядом.

– Я вас не понимаю.

– Ну как же: я боюсь, что девочка будет с ней видиться – а видиться с ней девочка, несомненно, будет – без моего ведома.

Представив себе такую возможность, миссис Гроуз на минуту пала духом, однако тут же вновь собралась с силами, как будто черпая их в сознании, что для нас отступить хотя бы на шаг – значит в самом деле сдать.

– Боже мой, боже, только бы нам не потерять головы! Но, в конце концов, ведь если она сама не боится... – Миссис Гроуз попыталась даже невесело пошутить: – Может, ей это нравится!

– Нравится такое – нашей крошке!

– Разве это не доказывает всю ее святую невинность? – прямо спросила моя подруга. На мгновение она меня почти убедила.

– О, вот за что нам надо ухватиться... вот чего надо держаться! Если это не доказательство того, о чем вы говорите, тогда это доказывает... бог знает что! Ведь эта женщина ужас из ужасов.

Тут миссис Гроуз на минуту потупила глаза и наконец, подняв их, спросила:

– Скажите, откуда вы это узнали?

– Так вы допускаете, что она именно такая и есть? – воскликнула я.

– Скажите, как вы это узнали? – просто повторила моя подруга.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.